

Тхоржевский Ив. В женском зеркале. Катрин Мансфильд о русских писателях // Возрождение (Париж). 1934. 7 декабря. № 3474. С. 5.

Въ женскомъ зеркаль

КАТРИНЪ МАНСИЛЬДЪ О РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ

любопытно посмотреть на себя чужими глазами, услышать о себе (но подлинное, не спешное для наших ушей!) суждение. Это суждение — женское, то оно не может быть мелочным; но зато, почти неизбежно, оно —

в невольно переданных Катринъ Мансильдъ ее отрывках о русских писателях.

Мансильдъ вела критический отрывъ въ «Атенеумъ», была присяжным литературным критиком. Но для читателей гораздо интереснее —

критическія статьи, а именно пять разбросанных въ личном дневникѣ Катринъ Мансильдъ о русских писателях, как бы частные мысли.

Таже, какъ книги займешь, — и фрегатъ

въ учить въ безбрежныя дали!

какъ, какъ книга спасетъ, — и забыть

не утешитъ сердца въ печали...

Мансильдъ видно, съ русской литературой торговалъ, а австралийскую душу, обожженную солнцемъ, обожренную

словами...

Среди множества отрывковъ Мансильдъ о русских писателяхъ только одинъ по-настоящему интересный: о Тургеневѣ. И только одинъ советъ рѣшительный: о Горькомъ.

«По советамъ, сама не могу повторить, — а было время, что я любила Тургенева. Сколько жаль! Что за притворщица! Спорить, лезаніе его обаятельно. Но и неустанно уверяю себя, что его «Панамунъ» какъ будто сражало по лучшему шаблону — для сына, для внука».

Въ Горькомъ ее возмущала быстрая развѣтливость, «легкость» его писанія.

«Хотѣла сегодня писать. Но слова не идутъ, не слышатся... Странно! Зато, когда читаешь легкія писанія людей, въ родѣ Горькаго, — отчетливо сознаешь, какъ далеко отъ нихъ я ушла... И впередъ!»

Русскія имена всплываютъ въ дневникѣ иногда по самымъ неожиданнымъ поводамъ. Любимая японская кукла Мансильдъ называлась, напримеръ, «Рибинъ»; это въ честь Куриинскаго «Штабъ-капитана Рыбинкова» — повѣсть, которую Мансильдъ считала лучшей у Куриина, вообще высоко ею цѣнилась.

А вотъ любопытный — и чисто женскій! — отрывъ Мансильдъ о Бунинѣ. Онъ относится къ 1922 году

«Прочла нѣсколько повѣстей Бунина,

какъ человѣческая душа, Бунинъ — не какъ тѣло, кто мнѣ былъ бы близокъ. Но вещи его дѣйствуютъ хорошо сильно. Онъ увлекаетъ».

Въ покаянно-религіозномъ настроеніи, Катринъ записываетъ: «Сегодня я почти готова молиться, какъ старый отецъ Толстой. «Боже мой! Сдѣлай для меня изъ этого же лучшаго человѣка»

Наоборотъ: въ бодромъ, шутиломъ настроеніи, — Мансильдъ записываетъ: «Не надо принимать своихъ превратностей всерьезъ. Не надо бояться ихъ. Надо научиться подтрунивать надъ собой... Вещь огромнѣйшей важности: то, что Шестовъ называетъ — усвоить себѣ тонъ легкой, насмѣшливой фамильярности съ жизнью...»

Два имени окружены въ записяхъ Мансильдъ особымъ, радужнымъ ореоломъ: Чеховъ и Достоевскій. Такъ бываетъ съ женскими зеркалами: самыя любимыя отраженія всегда онайманы въ нихъ легкимъ радужнымъ отблескомъ «преломленія» въ женской восторженности.

Отвѣтъ: «читала Достоевскаго» такъ же привычны для дневника, какъ и — считала Шекспира».

На первомъ планѣ «Вѣны». И въ «Вѣнахъ» женское вниманіе Мансильдъ привлечено больше всего Шатовымъ.

«Каждый разъ, что я читаю страницы, посвященныя новому счастью Шатова, я люблю втайнѣ хрюкнуть надѣждою, что на этотъ разъ Шатовъ ускользнетъ, будетъ предупрежденъ, что его не убьютъ...»

«Но откуда Достоевскому дано было знать того необыкновеннаго мстительнаго

чувства, того пристрастія къ маленькимъ злодѣямъ, которое овладѣваетъ женщиною, когда онѣ страдаютъ? Видѣла это — вещь, запряженная очень глубоко, на самомъ днѣ! Онѣ не знаютъ тогда любимаго человѣка. Пусть онъ ихъ обманетъ, — какъ Шатовъ обманулъ Мари, сапо и преданно: онѣ жаждутъ мучить его; и это мучительство приноситъ имъ, положительно, подлинное физическое облегченіе. Есть ли сходство между такою жестокостью — и тѣмъ, которую замѣчаешь часто въ его описаніяхъ страсти? Счастливы ли его героини, когда онѣ мучаютъ любимыхъ? Нѣтъ: онѣ переживаютъ, по своему, точно боль и пытку родовъ. Точно рождаются ихъ новая «личность», — и онѣ сами не вѣрятъ своему освобожденію...»

Имя Чехова въ записяхъ — черезъ страницу.

Повѣсти и рассказы самой Мансильдъ сравнивали часто съ чеховскими. Но на Катринъ всегда печать позднѣйшей, болѣе суровой эпохи. Ея женскій рисунокъ суше и тверже чеховскаго.

Чеховскіе герои безсильно тоскуютъ: «мы увидимъ небо въ алмазахъ». Для Мансильдъ ночное звѣздное небо всегда, и теперь, «въ алмазахъ!» Но зато въ этихъ алмазахъ — ледъ.

Мечтательная сентиментальность, отделившая отъ насъ многія чеховскія вещи, особенно его пьесы (тоже же «Вишневый садъ») далеко назадъ, въ прошлое, преодолѣла самую Мансильдъ, — не въ ея духѣ, но въ ея искусствѣ. Мансильдъ не

дѣла, снѣвъ чеховскія вещи и письма, подлинный обликъ самого Чехова.

«Передъ послѣднімъ письмомъ больного Чехова, когда онѣ потеряли уже надежду. Если съчитать съ этихъ проземертвыхъ писемъ, падеть сентиментальности, — то они просто ужасны: отъ Чехова не осталось ровнаго ничего, болѣе его истребила».

Но чеховское творчество въ лучшихъ его созданіяхъ важно для Мансильдъ не съ точки несправедливаго обаянія. Она смотритъ на Чехова снизу вверхъ, какъ писательница. Это ея учитель. И доли вліянія Мансильдъ — въ имитируемомъ англійскомъ — на увлеченіи Чеховымъ (а такое увлеченіе — фактъ неоспоримый) — весьма значительна.

Вотъ рѣчь Катринъ изъ записей Мансильдъ о Чеховѣ. Привести ихъ будетъ кстати.

«Всю день работала сегодня надъ Чеховымъ; потому — надъ своей повѣстью».

«Чеховъ научилъ меня писать рассказы совершенно неравные по дѣлѣ, — въ запискахъ отъ внутреннего зарила. Это всецѣло оправдано». «...Но Чеховъ ошибался, думая, что буду у него больше времени, онъ ошибался бы лучше, и дѣлѣ, — и дождь, и доктора, пьянаго съ бутылкой чай. Въ единъ рассказъ можно уместить только опредѣленное количество самыхъ нужныхъ вещей; всѣмъ остальнымъ надо жертвовать. Писать — это вродѣ скачки: торопись набросать, высказать все, что только успѣешь, до того, те столба, гдѣ видѣніе кончится и исчезнетъ».

«Прочла сегодня два тома Отава Мур-

бе... — и вижу окончательное, до ужаса ясно, какія это отталкивающая гниль. Нѣтъ, нѣтъ, надо писать иначе. Надо противопоставлять такимъ гнилымъ что-то иное. Гдѣ Чеховъ? Зачѣмъ онъ умер?»

«Джо читалъ мнѣ сегодня вслухъ рассказы Чехова. Одинъ изъ нихъ я уже читала раньше сама; но тогда онъ показался мнѣ незначительнымъ. А прочитанный вслухъ — это шедевр! Какъ это достигается?»

Чеховъ былъ не только писательской, но и нравственной «совѣстью» Мансильдъ: былъ для нея словно живымъ, близкимъ другомъ.

«Дѣлай, что можешь, здѣсь, на землѣ; но выбирай самое трудное! Смотри правѣ прямо въ глаза! — Чеховъ, положимъ, этого не дѣлалъ. Но все ли мы знаемъ о Чеховѣ?»

Умирая отъ чахотки, Катринъ записываетъ:

«Былъ докторъ... простой и милый. — Чистый сердцемъ. — Какъ Чеховъ! Странно: только съ этихъ двухъ людей видна настоящая доброта въ жизни. И только эти двое или еще останутся. Чеховъ... давно въ могилѣ. И докторъ... такой разбѣянный, такой безразличный!»

За нѣсколько дней до смерти — подуманный записъ:

«Если судьба исполнитъ мое послѣднее желаніе — (вырваться въ Парижъ) — то я рѣшила такъ выразить ей мою благодарность: услышавъ какъ то избу русскаго мальчика, и вазу его Антономъ...»